

Собака

Он прощался всегда намеренно небрежно и не позволял ей провожать себя. Считал — не стоит привлекать внимания Судьбы к этим прощаниям, чтобы, чего доброго, той не пришло в голову поставить под одним из прощаний свой беспощадный росчерк.

Судьбы он боялся и никогда не строил планы дальше, чем на завтрашний день, — боялся, что Судьба обозлится на него за легкомысленную самоуверенность. Может, это было единственным, чего он боялся в жизни...

А в этот раз даже не смог забежать к Ирине перед поездкой — с матерью случился очередной сердечный приступ, и после вызова «скорой» он просидел весь вечер дома — неловко было оставлять мать одну.

Ирина ждала его, конечно, волновалась, надо было позвонить, и он долго приготавливался к этому звонку — выкурил две сигареты, написал ответ на деловое письмо, которое валялось уже месяц на холодильнике, посмотрел по телевизору мультяк. И оттого, что звонить надо было непременно, и оттого, что он знал заранее ее слова и интонацию, с которой эти слова будут произнесены, в нем возникло и завибрировало раздра-

8 жение, как частенько случалось в последний год, — зудящее раздражение на мать, на Ирину — на этих двух женщин, делающих жизнь его непереносимой.

Набирая номер и глядя исподлобья на экран телевизора, где копошилось на стволе диковинного растения какое-то диковинное сумчатое, он подумал: ее можно понять, она, конечно, устала...

— Ира! — бодренько начал он. — Тут такое дело, понимаешь. Я никак не смогу сегодня. У мамы приступ был, «скорая» только уехала... Ну, ты сама понимаешь...

— Понимаю, — спокойно сказала Ирина. Но он-то знал подкладочку этого спокойствия. Да, подумал он, конечно, устала за эти годы. И я устал. Но что же делать, что же делать...

— Ну, до завтра обойдется, я надеюсь, — продолжал он. — А утром Андрей заедет за мной.

— Ага... — рассеянно, как ему показалось, ответила Ирина. И это его насторожило.

— ...За мамой здесь тетя Люба присмотрит. А я дней через пять — назад... Может, и раньше... Посмотрим, как там сложится.

— Ясненько, — ровно проговорила она, и он понял, что весь этот тон, разумеется, — протест.

— Ирина! — крикнул он. — Ну, что такое?!

— Езжай, ради Бога, — сказала она сломавшимся, как перед плачем, голосом и повесила трубку.

Он схватил пачку сигарет и пошел на балкон — покурить.

Мать спросила вслед:

— Мадам в претензии?

— Оставь меня в покое! — огрызнулся он.

— Бедняжка! Никак не может дожидаться моей смерти! — когда речь шла об Ирине, мать всегда переходила на патетический тон, у нее это хорошо получалось, она всю жизнь вела драмкружок во Дворце пионеров.

Он стоял, облокотившись на перила, и смотрел, как внизу, во дворе, Славик моет новые «жигули». Он так любовно протирал тряпочкой помидорно-красную крышу машины, что хотелось, как в шкодливом детстве, стряхнуть на эту идеально лаковую гладь пепел от сигареты.

Мать, лежа на диване, продолжала что-то говорить. Он вздохнул, придавил окурочку о перила и толкнул в комнату балконную дверь.

— ...и пересидит, переждет, конечно... И захапает тебя! — торжествующе закончила мать.

Монолог был неизменный, с незначительными вариациями.

— Лежи, пожалуйста, спокойно, — миролюбиво сказал он. — Тебе нельзя волноваться. — Но не выдержал, процедил сквозь зубы: — И не трогай Ирину, сколько можно просить тебя!

За Бричмуллой они свернули на узкую пыльную дорогу и долго еще петляли по ней, поднимаясь все выше. Андрей остановил «ниву» на небольшой поляне.

— Ну вот, — сказал он. — Доползли... Как тебе здесь — глядится?

Внизу горбились горушки, окрашенные в охру, от темной до золотистой, с желтыми и зелеными пролысинами, над горами вздымались красновато-бурые скалы. Над всем этим дыбилось жаркое пустое небо.

— Что, нормально... — сказал он и выбрался из машины.

Поляна, на которой они остановились, заросла травой и кустарником. Повсюду торчали огромные фиолетово-чернильные шапки чертополоха, узорчатые желтые шапочки бессмертника.

10 Он огляделся вокруг и, закрыв глаза, глубоко вдохнул воздух, напоенный хрупкими тянущимися запахами.

— Лимонник... шалфей... — узнавал он. — Что еще? Мята... душица...

Чуть поодаль сбились в хилую рощицу дикие яблони. Над рощицей в скалу уперлась огромная арча, выгнутая саксофоном.

— Смотри, саксофон, — кивнул он Андрею.

— Ага, я по нему ориентировался... — ответил тот, доставая из машины сложенную палатку и тугие бокастые рюкзаки. — У нас тут дневка была в прошлом году, когда без тебя ходили...

Андрей возился с палаткой, искал в машине запропастившиеся кольца, чертыхался, а он стоял и молча оглядывал такое огромное и все-таки тесное пространство, загроможденное скалами.

Со студенческих лет они сплавливались на катамаранах по горным рекам, ходили с ребятами в походы по два-три раза в году — казалось бы, и привыкнуть можно, — но каждый раз он вновь тихо изумлялся этим громадам и задыхался, жадно глотая этот воздух.

— Виктор, поддержи! — позвал Андрей.

Он встрепенулся и пошел помогать другу ставить палатку.

Давно уже он признался себе, что завидует Андрею. Тому, как сдержанно и спокойно властвует Андрей в своей жизни. Тому, как преданно заглядывают в глаза ему Вера и мальчишки. Да и в деле своем — не с наскоку, а верно и основательно забирался Андрей все выше — недавно его назначили главным инженером крупного завода. А одногодки, между прочим, одногодки... Что там говорить! — Андрей был человеком удачи. И сильнее всего Виктор завидовал его семейной жизни. Как-то сумел Андрей вылепить себе половину,

не сломав женщину, не повредив ее достоинство. Здесь даже не скажешь — повезло. Нет, сам сделал, сам — Верка была в институте безалаберной и дурашливой девчонкой. И не полезешь ведь в душу, не спросишь — что и как.

Взять нынешнюю вылазку: решили без женщин идти — Вера спокойно, молча сложила мужу рюкзак; если бы в последний момент Андрей велел ей собираться — собралась бы за десять минут так же спокойно и споро. Не было в их союзе междоусобиц из-за какого-то дурацкого самолюбия. Самолюбие растворялось в любви и безоговорочном доверии друг к другу.

А у Ирины ее самолюбие — бастион, не подступишься.

«Да... — подумал он, забивая камнем кол в мягкую землю. — Да, все дело в безоговорочном доверии... Как же они договорились об этом? С самого начала? Или вовсе ни о чем не договаривались?»

— Сильнее натягивай, — привычно командовал Андрей. Он умел погружаться целиком в дело. Худошавый, жилистый, с всклоченной шевелюрой — сейчас он был поглощен устройством жилья.

Палатка была двухместная, отратно-желтенькая — хорошая палатка, польская, купили в складчину для таких вот вылазок вдвоем.

— Перекусим, да? — спросил Андрей, стягивая майку и энергично вытирая ею потные грудь и спину. — Посмотри, что там Верка в рюкзак натолкала.

— Ого, чего тут только нет! — удивился Виктор, доставая из рюкзака пакеты. — Это что? Курица? Яйца. Огурцы. Сало... Чего-то непонятное в бумаге.

— А, это ценная вещь, — заметил Андрей, заглянув в рюкзак через его плечо. — Пирог с капустой. Вершина творчества. Ты пошарь, там и грибочки в банке должны быть.

12 — Эх, черт, и куда я смотрел в институте! — воскликнул Виктор. Обычная шутливая реплика, дежурный застольный комплимент талантам Верки. Андрей на эту реплику неизменно промалчивал. Произошел с ними непонятный такой случай лет пять назад.

...Весной, набрав отгулы, решили вчетвером пройти по Чаткалу на катамаране. Андрей — командиром, как всегда. Дима и Сурен шли второй раз всего, а речка сердитая была, с характером. Порогов этих, водоворотов, камней! Да, гордая речка, горная, ее оседлать непросто.

Помнится, на второй день похода у него лопнул ремешок от шлема, но до сих пор не вспомнить — почему Андрей-то без шлема оказался. Спасательные жилеты были, верно, да только от них мало толку на этих горных речках. Течение бешеное — пошвыряет башкой о камни, и никакой жилет не спасет.

Андрея вышибло из катамарана неожиданно, стволом сухого дерева, низко наклоненного с берега над водой. Виктор сидел вторым, за Андреем, и когда того выбило в воду, вдруг увидел, что Андрей-то без шлема, и бросился за рыжей шевелюрой, крутящейся в водоворотах между камней. Прыгнул, не вспомнив о собственной незащищенной голове. Андрей плавать не мог, вот в чем было дело. И по сей день не научился плавать, урбанист чертов.

Здорово побило их обоих, пошвыряло вдоволь, наглоotalись; но Андрея — полуживого, он — полуживой, все-таки выволок.

Ребят — Диму и Сурена — отнесло дальше, они растерялись, неопытные.

Андрей просил Веру о приключении не говорить. Но уже в городе, когда ждали автобуса, Дима позвонил из автомата жене и случайно проболтался. Та, конечно, немедленно позвонила Верке: мол, встречай своих героев покалеченных...

Инвентарь — скатанные катамараны, палатки, весла — хранился всегда у Андрея в кладовке, после походов первым делом вваливались к нему, это уже традицией стало. Так что свидетелями сцены в прихожей были все.

Позвонили. Верка за эти полчаса, видно, успела заплакаться — открыла дверь зареванная, с набрякшими веками, и, когда увидела его перевязанную руку, вдруг завывла и бросилась, да не к мужу, а к Виктору — обняла за шею, прижалась, больно налегая на поврежденную руку. Он растерялся и даже испугался, когда поверх ее припавшей головы увидел незнакомое, какое-то гипсовое лицо Андрея.

— Вера, я — вот он, — хрипло, спокойно сказал Андрей...

Сурен выручил — засмеялся; воскликнул с кавказским акцентом:

— Правильно, женщина! В ноги кланяйся! — Сурен редко пускал в ход этот акцент, но всегда кстати. — Он тебе кормильца спас, отца твоих детей!..

...Месяца три после этого странного случая он не появлялся у Андрея, и тот не приглашал. Потом чей-то день рождения подкатил, нельзя было не встретиться — и сгладилось, выровнялось... Но изредка он вспоминал лицо Андрея, каким было оно в тот миг — бескровным, смертельно-спокойным, — и осторожная мысль пробежала: а может, Андрей не так уж и счастлив, как представляется?

... — Слушай, это какая-то дивная курица, — заметил он, обглядывая смуглое крылышко. — Это не курица, а райская птица.

— Да, Верка ее с майонезом делает, с орехами...

— Сациви называется, кацо...

— Нет, это по-другому, в духовке кажется. А тебе не все равно? Ешь, — Андрей выломал куриную, перламутровую от майонеза, ногу и протянул ему. — Женись, тебе Ирина тоже приготовит.

— Даже самая дивная курица не стоит такой жертвы, — отшутился Виктор.

...Когда мылись, поливая друг другу воду из канистры, Андрей еще раз настойчиво спросил:

— Чего не женишься, бобыль?

— Отстань, — отмахнулся он, снимая с плеча Андрея полотенце. — Дай хоть здесь пожить спокойно.

— Нет, правда?

— Я тебе сто раз говорил: не могу я мать оставить, она больной человек! — он начал раздражаться. — А вместе они не уживутся.

— Сам виноват.

— Может быть... — он вздохнул. — И потом, Илюшка растет, возраст у него сейчас самый противный — четырнадцать... Он отца помнит хорошо... Знаешь, временами я такие его взгляды на себе ловлю...

— Еще бы не глядеть ему! Парень видит, как маме весело живется... Смотри, останешься когда-нибудь и без жены и без матери.

— Значит, судьба такая, — усмехнулся он.

— Не судьба, а ты — дурак, — спокойно сказал Андрей, взял из рук его полотенце и пошел к палатке. Крикнул оттуда:

— Я — пас! Лезу дрыхнуть.

...Солнце стояло еще высоко, трава звенела, тренькала, жужжала и зудела, и все это сливалось с теплым ветром в ровно дышащее молчание гор. И в густоте насыщенного звуками молчания раздавалось то далекое ржание пасущегося коня, то лай чабанской собаки.

Он накинул рубашку и сказал:

— Андрей, я прогуляюсь...

Тот не ответил, — наверное, уснул. Он подумал, что Андрей и вправду устал сегодня — все-таки за рулем, по горной дороге.

Через рожицу диких яблонь он вышел к подножию большого холма, на волнистом гребне которого паслись тонконогие кони, медально отпечатываясь на фоне акварельно промытого неба.

Он стал неторопливо взбираться, стараясь ничего не пропустить по пути, — ни корявого деревца миндаля, ни ящерки, мелькнувшей по камню; вдохнуть в себя прогретую солнцем пахучую благодать воздуха и не думать ни о чем — отбросить на эти пять дней тягостный бред своей городской жизни.

Навстречу ему на шоколадной лоснящейся кобыле спускался человек с ружьем за спиной. Подъехав, остановился и вежливо поздоровался. Это был мужичок-замухрышка, в телогрейке, в кирзовых сапогах.

Виктор угостил мужичка сигаретой, тот обрадовался, слез с лошади и охотно разговорился.

— Егер я, — охотно пояснил мужичок. У него было живое простоватое лицо монголоидного типа. — Туда-сюда еду, смотрю. На кабан запрещение ест... Я — егер, такой должныст строгий, смотреть нада...

Виктор объяснил егерю, что приехал вдвоем с приятелем, — во-он их палатка, желтая, ружей у них нет, стрелять не собираются ни кабанов, ни куропаток. Отдохнут дней пять и поедут... Места здесь красивые.

Егерь оживился и подтвердил, что места и вправду красивые, показал, как идти до водопада, — красавец водопад, метров двадцать высотой... Сказал — недалеко, километров пять до перевала, — знаменитая березовая роща, та самая, что еще при русском царе посадили. Каждый саженец в золотой обошелся.

16 Его шоколадная красавица гнула холеную шею, не хотя брала мягкими губами стебельки травы и, вскинув голову, косила каштановым зрачком.

— Там что — чабаны? — спросил Виктор егеря, кивнув на гребень холма.

— Чабаны, да, — заулыбался егерь. — Приятел бери, в гости ходи... Баран резать будем, шурпа, плов варить будем.

— Ну, спасибо, придем... — и он не удержался, похлопал кобылу по теплой шее, ощутив под ладонью упругую мощь лошадиного тела.

Егерь попросил еще сигарету, впрок, и вскочил на лошадь.

— Осторожно ходи, — посоветовал он. — Сыпун много, сель бывает... Вон там — он показал в сторону, где перекрещивались покатые гребни холмов, — там де-сят человек от сель погиб.

— Когда? — быстро спросил Виктор, почувствовав, как неприятно ткнулось и заныло что-то в сердце. — В семьдесят четвертом? Разве здесь?

— Издес, — подтвердил егерь спокойно, — все спартсмен был, карта маршрута был, все был... — он вздохнул и тронул пятками лоснящиеся бока кобылы: — Хоп, отдыхай...

Виктор смотрел на круп удаляющейся лошади, на ватную спину егеря и пытался совладать с непонятным смятением.

Это была группа Позднышева, десять человек, и среди них — муж Ирины, Костя Мальцев... Да, Костя Мальцев, хороший парень... Как же он временами ненавидел его, мертвого, как ревновал Ирину — к имени, к памяти, к прошлым объятиям, — к мертвому ревновал.

Может быть, слишком явственно понимал в иные минуты, что она постоянно сравнивает их, сталкива-

ет — мертвого и живого, и едва ли живой желанней ей и дороже...

Зачем же он оказался здесь, сейчас, что за беспощадная рука привела его сюда и развернула лицом к этим пустынным холмам — вот оно, место Костиной гибели. А теперь отдыхай — то есть мучительно и тщетно старайся выкинуть из головы хоть на пять дней ссоры с Ириной, Костиного сына, так похожего на отца, тяжелый характер матери, бесконечные визиты на дом врачей, однообразные телефонные разговоры — что еще?

— Переста-ань, — простонал он негромко, не понимая сам, к кому обращается: к себе ли, к Ирине, к мертвому Косте или к тому тайному мытарю, что ведает обрывистыми тропками его судьбы, держит карту его маршрута. — Ну что ты, что ты? Почему?.. Не надо, не мучай, не мучай!

...Он повернул в противоположную сторону и долго, изматывая себя, взбирался меж камней и кустов на крутой каменистый холм и, когда взобрался наконец на гребень, почувствовал, что обессилел.

Он повалился в траву — грудью, щекой, — в этот пронизывающий запах сырой земли и нескончаемой жизни, и долго лежал так, бессмысленно изучая торчащий перед глазами кустик молодого лимонника, еще какую-то тонкую травку с фиолетовой робкой крапичкой цветка.

Он перевернулся на спину, раскинул руки, принимая на грудь это любимое, непостижимое небо, и молча заплакал... Такое с ним бывало... В одиночестве, в горах или на море, он иногда плакал от сладкой ностальгической тоски по уходящей жизни. Всегда, с самого детства, очень остро он чувствовал мимолетность своей жизни и трепетно относился к прошлому, часто перебирал в памяти, перетряхивал — берег его, как бережет хозяйка и прячет дорогие вещи в шкафу.

18 Он вспомнил прошлогоднюю поездку в горы, весной, с Ириной и Илюшкой, ее синюю панамку — смешную, с огромной, как у клоуна, пуговицей на макушке. Илья ушел в поселок за пивом, а они валялись в палатке, решали кроссворд и долго не могли отгадать слово «эротика», когда же наконец отгадали, то взглянули друг на друга и расхохотались, он выкатил глаза, сделал алчное лицо и повалился на нее, она же, изнемогая от смеха, отбивалась и вскрикивала: «Виктор, пусти, перестань, ну! Сейчас ребенок вернется...» А через полчаса поссорились, яростно, из-за какой-то чепухи; видели, как по склону с тяжелой авоськой поднимается Илюшка, улыбается, победно машет им бутылкой пива, и — не могли остановиться. Впрочем, Илья не раз уже бывал свидетелем остервенелых ссор, ему не привыкать...

В последние месяцы раздражение стало прочным и, как ему казалось, чуть ли не единственным оттенком отношения к Ирине. Иногда он даже спрашивал себя: «И это любовь?»

Тогда он представлял, что она умерла. Ирина. Приходят и говорят: она умерла. ...Нет, не так. Звонят. Чужой спокойный голос в трубке. Говорят: она умерла. И по тому, как хватал его паралич ужаса в эти минуты, он понимал, что обреченно любит ее...

Последний раз он видел ее неделю назад. Утром выписал на работе городскую командировку, быстро уложился с делами и к обеду уже звонил в родную дверь, обитую коричневым дерматином. Ирина, видно, выскочила из ванной — была в махровом халате, с круглой, как у ребенка, намыленной головой.

— Привет! — обрадовалась она. — Молодец, что пришел. Покрась меня, а то я не вижу сзади... — и убежала в ванную.

Он открыл холодильник, отрезал кусок сыру и так

жевал, стоя у окна в кухне. Ирина вышла из ванной с полотенцем на голове.

— Не хватай сухомятку, пожалуйста! — она всегда сердилась, когда он ел стоя, на бегу, как придется. — Покрасишь меня и сядем обедать. У меня рассольник и голубцы.

— Голубец ты мой, — он глядел в окно и рассеянно жевал.

— Понимаешь, сегодня Аскарянц устраивает банкет после защиты. Не могу же я пугалом идти! Меня Илюшка всегда красит, а тут я забыла с ним договориться, и он на тренировку побежал.

— Кто оппонент у Аскарянца?

— Москвич какой-то. Интересный, в очках, с шевелюрой эдакой. Я фамилию забыла... Вот, смотри, — она уселась перед зеркалом, выдавила в чашку из толстого тюбика вишнево-бурюю змейку, размешала, — вот тебе щетка. Окунай и тщательно крась каждую прядь. Особенно у корней прокрашивай. Ясно?

— Ясно, гражданка клиентка, — он встал за ее спиной, взял старую зубную щетку с растрепанной щетиной, тоже вишнево-бурой, окунул ее в раствор и приподнял прядь волос на затылке Ирины.

Почти вся прядь была седой. И это почему-то испугало его. Он привык, что Ирина молодо выглядит, он вообще привык к ней и давно уже не всматривался в ее лицо, волосы, фигуру, как не присматривался к себе. И эта, неожиданная для него, седая прядь — ошеломила.

— Ира! — воскликнул он и стал судорожно ворошить волосы на ее голове, надеясь, что это просто попалась такая прядь, что сейчас он ее закрасит и все будет о'кей... Нет, седины было много, очень много.

Ирина засмеялась и мотнула головой:

— Ну, не балуйся!

— Ира, ты вся седая!

20 — Сделал открытие, — невесело улыбнулась она и вдруг, подняв глаза, увидела в зеркале его изменившееся лицо. Они молчали и глядели друг на друга и в эти секунды, казалось, понимали такое, чего не могли понять все эти годы... Он молча наклонился и прижался щекой и губами к ее шее, там, где сидела круглая родинка. Ирина молчала, не шевелясь.

— Ну, давай краситься... — наконец тихо и медленно проговорила она. — Будем закрашивать нашу жизнь в красивый цвет.

...Он заметил, что вокруг много растет ревеня, поднялся и стал рвать его — из ревеня мать варила отличные кисели. Он снял рубашку, натолкал в нее ревеня, завязал рукава и перекинул через шею, как хурджун через ишака...

Горячий дневной свет понемногу линял, остывал и стекал с неба в ущелье, где загустевал в вязкие сумерки. С вершины горы открывался дневной закат: солнце, налитое, с кровавой тяжестью в брюхе, грузно оседало в клубневую гряду облаков.

Театральное действие, подумал он, любуясь закатом, и только сейчас ощутил глубокую тишину, в которой происходило это угасание дня. И сразу в тишине слышался шелест травы за спиной.

Он обернулся — шагах в пяти стояла собака, белая, в черных подпалинах, с обрубленным ухом. Стояла и молча смотрела на него желтыми глазами.

От неожиданности он вздрогнул и даже отступил на шаг. Непонятно было — откуда взялась собака. Откуда и чья она? Может, чабанская?.. Она подбежала, стала молча ластиться, что было жутковато. Нет, не похожа на чабанскую. Те — собаки гордые, ничего у чужих не просят.

— Ну что ты, что ты? — спросил он, потрепав ее по голове, забирая в горсть единственное тряпичное ухо.

Заговорил, чтоб услышать свой голос, хоть что-то услышать человеческое в этой томительной тишине. — Ты что здесь делаешь, а? Ну, чего молчишь?

Собака глядела на него, ждала.

— Ты есть хочешь? — догадался он. — Ах, бедолага... А у меня нет ничего. В палатке найдем, пошли... — он повернулся и пошел, собака потрусил за ним.

— Пойдем, пойдем, — повторял он, стараясь не смотреть в ее странные желтые глаза.

...Прошли километра два, когда он вдруг понял, что заблудился. Это обескуражило его. Обычно он прекрасно ориентировался везде — в незнакомых городах, в лесу, в горах, а тут — на тебе, заплутал.

Горы уже померкли, сизыми тенями соскальзывали по ним облака, небо загустело, налилось фиолетовым, и на окраине его всплыла сумеречно-хрупкая луна.

Собака стояла у его ног и, подняв одноухую голову, пристально смотрела. Две холодных луны плыли в ее глазах. Он отвел от собаки взгляд и огляделся, пытаясь сообразить, в какую сторону двинуться. Он искал арку, выгнутую саксофоном. Но в сумерках, стремительно глотающих пространство, все труднее различались даже недалекие деревца.

— Хреновина какая-то, — буркнул он, повернул и пошел влево. Показалось, что за острым выступом скалы будет тропка, по которой он поднимался.

Собака бежала за ним как привязанная, и с каждой минутой ему все больше становилось не по себе. В голову полезли дикие мысли: вдруг почудилось, что не за ним бежит она, а гонит его впереди себя, как гонит пастух бездумную скотину на бойню.

Два раза он оборачивался и громко заговаривал с нею, с собакой.

— Ты чего молчишь? — раздраженно спрашивал он, и собственный голос казался враждебным в этой тем-

22 ной тишине. — Ты скулить умеешь? А лаять? Вот так умеешь? — он остановился и залился оглушительным лаем, с подвывами, порыкивая.

Склонив голову набок, собака внимательно глядела ему в глаза. Наблюдала...

Он почувствовал, как страх цапнул коготком где-то в животе, и тихо выругался.

— Пошла! — крикнул он собаке. — Дура, все из-за тебя! Чего привязалась? Пошла отсюда!

Собака спокойно глядела немигающими желтыми глазами.

Он повернулся и побежал. Она — за ним, неторопливо, размашисто, словно была уверена, что никуда он не денется.

— Ах, ты так! — пробормотал он сквозь зубы, подобрал камешек и швырнул в нее. Собака отпрянула, мотнула головой и опять спокойно стала приближаться боком.

«Да какая это, к черту, собака! — смятенно подумал он, — никакая это не собака!» — попятился, не решаясь повернуться к ней спиной, подался назад, и вдруг нога его скользнула вниз, зашуршали камни, он упал навзничь и, чувствуя спиной и затылком перебор мелких камешков, стал сыпаться, сыпаться вниз по склону.

Он понял, что попал в сыпун и катится в пропасть. Перевернулся на живот, стал тормозить локтями, коленями, хватаясь за что попало, но безуспешно — медленно катился и катился вниз.

Собака тоже попала в сыпун, катилась за ним следом. Сыпались камни... Один крупный угодил в собаку; она завизжала пронзительно, задергала лапами, беспомощно пытаясь подняться и время от времени сваливаясь ему на спину.

Повезло с этой рубашкой, набитой ревенем, — дурацкая прихоть, а как повезло! Она, как подушка на шее, смягчала падение и слегка тормозила и защищала голову от падающих камней. Несколько раз ему удавалось застрять на минуту, уцепившись за колючий сухой кустик, и он лежал, почти бессознательно отмечая, как сплывала, съезжала по камням собака, как замедлены, расщеплены ее движения. Наконец она прикатывалась к нему, он с ней разговаривал.

— Думала, доконаешь меня? — хрипло спрашивал он, заглушая гулкие, дробные удары сердца и слыша, как колотится о его спину сердце собаки. — Я-то понял — кто ты... Да уж не молчи... скажи сразу — конец, что ли? — облизнул запекшиеся, распяленные в напряжении губы, подумал: а ведь и вправду — конец! — застонал, дернулся и покатился вниз, и долго, бесконечно долго катился, пока не уперся ногами в валун.

Несколько мгновений он лежал, глядя в сочное, чернильно сгущенное небо, боясь пошевелиться. Валун качался, впереди внизу чернела пропасть, пасть ее дышала холодом.

— Приехали, — омертвело выдохнул он.

Сверху прикатилась собака, она молчала и тяжелым кулем давила на спину, дергалась, истекала кровью — парные струйки крови бежали по его шее, груди, спине. Майка намочла и неприятно липла к телу.

Он уже привык к собаке, привык катиться с нею по бесконечному пути в пропасть. Она была вечным спутником, товарищем по смерти. Собака была — Судьба. Его собственная Судьба с желтыми глазами, от которой он столько раз уворачивался.

— Вот ты где меня достала, — сказал он собаке. — Ну, ладно... сейчас полетим... сейчас... Да не дрыгайся, ты, дура... Все уже кончено.

Он подумал вдруг, что Ирина сейчас в усталой горечи, в досаде и — бедная — не знает, что все кончено, что он погиб, его уже, в сущности, нет. Все кончено, и какая чепуха их ссоры, и мелкие и крупные, их жалкая грызня все эти годы, когда нужно было — так просто! — любить и любить друг друга. И как ясно это теперь и как хочется жить, а надо гибнуть... Надо гибнуть, да не все ли равно — теперь уж все кончено и жить осталось две-три минуты, и те в темени, как и вся жизнь.

Боже ты мой, как бездарно жито-прожито, и чего хотел, и за чем гонялся? По каким рекам опасным убегал от нее, какую такую жалкую волю оберегал столько лет! На, давься теперь своей волей, захлебнись ею — собачьей кровью... Да, меня уже нет, а она не знает, бедная моя, не знает ничего и ничего не понимает, лелеет свою горькую усталость, пестует ее — свою обиду, а меня-то уже нет...

Его тошнило, тянуло в пропасть. Дрожащей рукой он стянул с шеи хурджун с ревенем и выпустил. Несколько секунд, раскинув полные рукава, рубашка летела вниз, и это слишком напоминало человека.

Краем глаза он увидел соседний валун, повыше. Пришла вдруг странная мысль: избавиться от собаки, раздвоиться с нею, уйти — от нее.

Одной рукой он уперся в валун, другой поднял собаку (она оказалась тяжелой), напрягся и перебросил за тот, соседний, камень.

— Ну вот... — пробормотал он. — Лежи... Ты теперь сама по себе...

Тут он заметил — слева, вверх по скале, насколько видно было в густеющей темени, — выдаются шербатые уступы. И он решился. Подтянул колени, перевернулся на живот и, ухватившись пальцами за первый уступ, пополз по скале.

Он полз медленно, осторожно, по одной подтягивая

ноги, нащупывая ими пройденный руками выступ, и тогда притянул к еще не остывшим от дневного жара камням, отдышал. Один раз обернулся: собака молча глядела вслед ему желтыми, лунными в темноте глазами.

— Прости, — сказал он ей. — Прости, так получилось...

Она молчала.

— Скажи хоть — за что? За Ирину?

Собака молчала...

Он отвернулся от ее глаз и стал карабкаться дальше...

Он полз по скале над пропастью, руки и ноги напряженно дрожали, мыслей не было, а все какая-то глупая шелуха крутилась в голове, как мусор в речном водовороте: что вот мать все точила его, просила прописать свою внучатую племянницу Галю, а он тянул, тянул, непонятно почему, и, пожалуйста, дотянул. Или являлась вдруг перед глазами, залитыми мутным потом, белая эмалированная кастрюля, в которой мать варила кисели; мучительнее всего донимала родинка, одинокая и беззащитная родинка на плече Ирины, вернее там, где плечо поднимается в шею. Это была любимая его родинка, и сейчас она просто не выходила из головы, сидела там, будто гвоздь, вбитый по самую шляпку.

Наконец ему крупно повезло — он наткнулся на площадку, размером с табурет, выполз на нее, лег животом и долго лежал так, пока не понял, что сорвется, если не будет карабкаться дальше...

Теперь, когда за камнем он оставил свою желтоглазую Судьбу с обрубленным ухом, ему казалось, что он уползает от смерти. Но нет, он полз вровень с нею, и она зорко следила своим желтым оком за каждым его движением, как следит озорник за мечущимся тараканом.

26 ном в ловушке умывальной раковины... Продлевает, сука, подумал он, забавляется. Его вдруг охватила жгучая ярость, желание немедленно оборвать это жалкое копошение, это трусливое уползание от смерти: сгруппировать тело и ринуться вниз, в клубящуюся сизым дышащим туманом пропасть, как прыгал он не раз с вышки в бассейн; но представил этот последний полет, острые камни внизу и опомнился, крепче ухватился за крошащийся под рукою выступ...

Отдохнул он на небольшой площадке, загаженной орлами. Так обрадовался, когда взобрался на нее, оскальзываясь в свежем птичьем помете, что сел, подрав колени и жалобно засмеялся. Пришла даже мысль дожидаться здесь утра, ведь наверняка Андрей уже мечется, ищет его...

Черное небо дышало и роилось звездами — крупными, зеленоватыми и дрожащими, и мелкими — колючими булавочками. В небе происходила дальняя жизнь — что-то помигивало, шевелилось, перемещалось, срывалось и падало, и эта жизнь казалась враждебной, как и жизнь ночных гор. Он сидел на площадке, а сверху и вокруг тянулись холодные и непостижимые пространства.

С полчаса он сидел, дрожа от холода и напряжения, боясь поскользнуться — площадка была слегка пока-та — и понял: надо ползти дальше. Его гнало неотступное ощущение погони, какой-то невидимой, но жестокой травли, и спасение было — в движении.

Внимательно осмотревшись, насколько позволял осмотреться мерклый свет луны, он заметил совсем рядом торчащие из трещины в скале сухие корешки, а ниже, один за другим, — выступы, прочные на вид; и решил спускаться вниз, в ущелье, по этой отвесной скале.

Он спускался, из-под кроссовок летели камни, крошились уступы, раз он чудом удержался, схватившись

за кустик колючки, сильно ободрав при этом руки и щеку. И все-таки он спускался! Медленно, отбирая у желтоглазой каждый шагок вниз, не зная — как глубока эта пропасть и сколько еще придется так ползти...

Потом он наткнулся на длинный, узкий, опоясывающий скалу выступ, подумал, что эта тропка должна привести куда-то, и, подтянувшись, вскарабкался на нее, распластался грудью и руками по скале...

Тропка и вправду привела к тесной — шириною метра в два — расщелине, и он, обдирая руки и тело, стал спускаться по ней. Это была удача, так он продвигался гораздо быстрее, опираясь руками в стены расщелины, нащупывая ногами выемки в скале. Иногда, почувствовав ногою надежную опору, он отдыхал минуты две-три, расставив руки, как бы раздвигая ладонями расщелину.

Горячий пот бежал по спине и груди, щипал глаза, щекотал в носу. Минутами ему казалось, что он слепнет — все сливалось в едкую мглу. Он спускался на ощупь и не глядя поставил ногу в уступ, где свила гнездо птица. Она вылетела с испуганным криком, ударив его крылом по лицу, он сорвался и полетел вниз, и летел в расщелине несколько метров, ударяясь коленями и локтями о выступы, пытаясь ухватиться за что-нибудь. И когда рука скользнула по шершавому, колючему, он вцепился мертвой хваткой, повис, перехватил куст — это оказался дикий шиповник — другой рукой и, осторожно подтягиваясь, бормоча шиповнику: «родной... родной...», — выполз наконец на узкий выступ, шириною с тувель. Правая рука была в чем-то липком, горячем, струящемся, и он понял, что это кровь, и испугался, что вскрыта вена на запястье. Не отпуская колючие ветки шиповника, он прижался лицом к руке, надавливая щекою, пытаясь остановить кровь, и вдруг на соседнем склоне метрах в трехстах внизу увидел огни.

Альпинисты, понял он, еще не веря глазам — ночные восхождения, с прожекторами, — и заорал, заплакал, не ожидая в себе такой силы голоса.

Его услышали, ослепили прожектором, и через несколько секунд он увидел, где стоит. Внизу тянулась все та же пропасть, слева, у самого локтя, выпирал из скалы бурый валун. Внизу бежали ребята, размахивали руками, что-то кричали. Он понял по жестам: там, за валуном, — тропка... Нужно было перебраться как-то, перевалиться через камень, и это было последнее, что связывало его с желтоглазой, и это было уже не так страшно, потому что внизу бежали люди, кричали, размахивали руками.

Он обнял валун, перекинул ногу и почувствовал, что камень сейчас сдвинется и полетит в пропасть вместе с ним. Последним рывком он успел втащить свое тело на камень, и когда тот сдвинулся и накренился, он был уже на тропке и полз по ней вниз. А дальше — по мелкому сыпуну, почти без сознания, кубарем — к ребятам...

Он слышал какие-то голоса, чувствовал, как его тормозят, ощупывают, перевязывают руки, видел мелькание лиц и фигур, все это перемежалось с гулкой обморочной пустотой. Потом всплыло какое-то оранжевое пятно. В это пятно он сказал, с трудом ворочая распухшим прокушенным языком:

— Спасибо... ребята...

— Тебе спасибо, за то, что жив, — ответило пятно. Это оказался дюжий парень в оранжевом анорাকে и вязаной шапочке с бомбоном: — Тут, знаешь, какая ступень? Тут только в связке и со снаряжением лазают. Непонятно, как ты жив остался.

— Да, кино! — сказал кто-то рядом. — Сам сможешь идти?

— Конечно, что вы, ребята! — усмехнулся он, вер-

нее, дернул какой-то застывшей мышцей лица, попробовал встать и тут же свалился кулем — ноги не держали.

Его подхватили под мышки, поволокли к палаткам и там уже, укутав спальниками, заставили выпить три стакана крепчайшего чая с невероятным количеством сахара.

Теперь, в безопасности, среди незнакомых, но таких теплых, родных людей, его колотил озноб, сменявшийся приливом горячей крови к голове.

В палатке с ним возились двое: дюжий парень в оранжевом анорাকে и совсем юная девчушка с ломким, как у подростка, старательным голоском. Лицо ее в глухом свете фонаря казалось серьезным и таинственным. Она смазывала зеленкой глубокие ссадины на его руках, на лице, на теле, долго возилась с пластырем, заклеивая что-то на спине.

— Ты, случаем, не из летающей тарелки? — поинтересовался парень в анорাকে. — Вроде для нормального человека маршрут необычный.

Виктор улыбнулся разбитыми губами.

— Погулять пошел, — проговорил он. — В сыпун... угодил...

Виктор вспомнил об Андрее и встрепенулся вяло:

— Пойду я...

— Сейчас, побежишь, — весело согласился «анорак» и велел девушке: — Ну-ка, укрой получше, смотри, как бьет его...

Виктор почувствовал, что его ловко, уютно накрывают, обволакивают густой истомной пеленой, и спросил сквозь сон:

— Как вас зовут?

— Ирина, — ответила девчушка старательным голоском.

— Ирина... — повторил он блаженно и вдруг уснул. Но сразу очнулся и забормотал: — Нет, ребя... мне ид-

Содержание

Двое

Собака	7
Любка	38
Дед и Лайма	73
Ральф и Шура	84
Посох Деда Мороза	88

Трудная земля

Альт перелетный	115
Я и ты под персиковыми облаками	140
Вывеска	163
Туман	170

«...Их бин нервосо!»

У писателя... ..	221
Я — офеня	226
Под знаком карнавала	241
«Я не любовник макарон», или Кое-что из иврита	256
Иерусалимский автобус	266

430	Дети	276
	Я кайфую	287
	Противостояние	294
	«А не здесь вы не можете не ходить?!», или Как мы с Кларой ездили в Россию	303
	«...Выпивать и закусывать...»	318
	«...Их бин нервосо!»	345
	Послесловие к сюжету	359
	Ружье для Евы	369
	Позвони мне, позвони!	382
	Чем бы заняться?	395
	«Майн пиджак ин вайсе клетка...»	408